ПЕРЕКРЕСТЬЯ

РУССКОЙ

МЫСЛИ

андрей

ТЕСЛЯ

Андрей Александрович Тесля, ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, кандидат философских наук. В серии **«Перекрестья русской мысли»** делается попытка сдвинуть **ключевых персонажей интеллектуальной жизни** России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и **создать наиболее точную и объемную картину эпохи.**

александр

ГЕРЦЕН

В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций – от сомневающегося и старающегося разобраться в аргументах сторон к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, **глубоко оригинальной позиции, в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон.**

сборник

“НАШИ” и “НЕНАШИ”

письма русского

Перекрестья русской мысли

Александр Герцен

«Наши» и «не наши». Письма русского (сборник)

«РИПОЛ Классик»

до 1869 г.

УДК 122/129
ББК 71.0

Герцен А. И.

«Наши» и «не наши». Письма русского (сборник) /
А. И. Герцен — «РИПОЛ Классик», до 1869 г. — (Перекрестья русской мысли)

ISBN 978-5-386-09644-1

Современный читатель и сейчас может расслышать эхо горячих споров, которые почти два века назад вели между собой выдающиеся русские мыслители, публицисты, литературные критики о судьбах России и ее историческом пути, о сложном переплетении культурных, социальных, политических и религиозных аспектов, которые сформировали невероятно насыщенный и противоречивый облик страны. В книгах серии «Перекрестья русской мысли с Андреем Теслей» делается попытка сдвинуть ключевых персонажей интеллектуальной жизни России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и создать наиболее точную и объемную картину эпохи. Александр Иванович Герцен – один из немногих больших русских интеллектуалов XIX века, хорошо известных не только в России, но и в мире, тот, чье интеллектуальное наследие в прямой или, теперь гораздо чаще, косвенной форме прослеживается до сих пор. В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций – от сомневающегося и старающегося разобраться в аргументах сторон к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, глубоко оригинальной позиции, в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон. Вниманию читателя представляется сборник ключевых работ Герцена в уникальном составлении и со вступительной статьей ведущего специалиста и историка русской философии Андрея Александровича Тесли. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 122/129
ББК 71.0

ISBN 978-5-386-09644-1

© Герцен А. И., до 1869 г.
© РИПОЛ Классик, до 1869 г.

Содержание

Андрей Тесля 7
Перекрестья русской мысли 7
Александр Герцен: первый опыт синтеза западничества и славянофильства[2] 9
А. И. Герцен 18
Главы из «Былого и дум» (1858) 18
Глава XXIX 18
Глава XXX 31
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Александр Иванович Герцен, Андрей Тесля «Наши» и «не наши». Письма русского (сборник)

© Тесля А. А., вступительная статья, 2016
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», издание, оформление, 2017

Андрей Тесля

Перекрестья русской мысли

XIX век был веком историзма, который для нас нынешних выглядит зачастую вполне анахронистично, с попыткой найти «исток» своей истории, момент начала, который бы предопределял дальнейшее, и вглядываясь в который можно наилучшим образом понять современность. Прошлое здесь выступало в двоякой роли – в качестве того, что определяет нас и в то же время чему мы можем изменить, сознательно или по невежеству, от непонимания, недостаточного осознания своего прошлого. Осознание истории тем самым должно было вернуть сознающего самому себе – ему надлежало узнать, кто он есть, и тем самым измениться.

В шестом «Философическом письме» (1829) Чаадаев писал:

> «Вы уже наверное заметили, сударыня, что современное направление человеческого разума явно стремится облечь всякое знание в историческую форму. Размышляя о философских основах исторической мысли, нельзя не заметить, что она призвана подняться в наши дни на неизмеримо большую высоту, чем та, на которой она стояла до сих пор. В настоящее время разум, можно сказать, только и находит удовлетворение в истории; он постоянно обращается к прошедшему времени и в поисках новых возможностей выводит их исключительно из воспоминаний, из обзора пройденного пути, из изучениях тех сил, которые направили и определи его движение в продолжение веков».

Для русской мысли споры о прошлом и о месте России в мировой истории были непосредственно обращены к современности – разместить себя в истории означало для XIX века, как во многом и для нас сегодняшних, определить положение в мире, оправдать одни надежды и отбросить иные, предаться отчаянию или воодушевиться масштабностью перспективы. Определяемое настоящим моментом, интерпретация прошлого возвратным образом дает нам понимание современности, а исходя из него мы действуем, т. е. совершаем поступки, направленные в будущее, и, следовательно, независимо от того, насколько верным или нет было наше понимание прошлого, оно оказывается реальным по своим последствиям.

Интерес к прошлым спорам в истории русской мысли определяется не столько их кажущейся «непреходящей актуальностью», сколько тем обстоятельством, что мы по сей день говорим во многом посредством интеллектуального словаря, что возникает в ту эпоху, используем противопоставления, определившиеся тогда, и, встречаясь с ними в прошлом, испытываем «радость узнавания», которая нередко оказывается лишь следствием ложного отождествления.

Кажущаяся актуальность полемики прошлого связана с тем, что мы раз за разом изымаем тексты прошлого из их контекста – так, «западники» и «славянофилы» начинают встречаться далеко за пределами споров в московских гостиных и на страницах «Отечественных записок» и «Москвитянина», оказываясь вневременными понятиями; одинаково употребимыми и применительно к 1840-м; и к 1890-м; и к советским спорам 1960-х; «азиатская деспотия» или «восточные нравы» с тем же успехом начинают встречаться хоть в XX в. до Р.Х.; хоть в XX в. от Р.Х. Соблазн наделять историю функцией прояснения смыслов современности приводит к тому что сами исторические отсылки оказываются вневременными – история в этом случае берет на себя роль философии; в результате оказываясь несостоятельной ни как история; ни как философия.

Напротив; если говорить об актуальности подлинной; то она состоит в первую очередь в восстановлении интеллектуальной генеалогии – идеи; образы; символы; которые представляются в первом приближении «самой собой разумеющимися»; едва ли не «вечными»; раскрываются в момент их возникновения; когда они являются еще только наметками, попытками разметить пока еще неописанную «пустыню реальности». О заслуженно знаменитой книге о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия» (1938) Николай Бердяев отозвался; что точнее ее было бы назвать «Беспутство русской мысли» – исторический разбор все приводил к тому что думали не так; не о том; не в той последовательности или вообще без оной. Но даже если мы согласимся вдруг со столь печальной оценкой; и в этом случае обращение к истории не будет бесплодным; ведь дело не только в вердикте; но и в понимании логики споров прошлого: «в его безумье есть система». Впрочем; сами мы так не думаем – разочарование есть обычно следствие предшествующего очарования; чрезмерных надежд; ожидания найти ответы на «последние вопросы». Но; как писал Карамзин (1815); «всякая История; даже и неискусно писанная; бывает приятна; как говорит Плиний; тем более отечественная. […] Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого, и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть […]».

* * *

В серии «Перекрестья русской мысли» планируется выход избранных текстов русских и российских[1] философов, историков и публицистов, имеющих определяющее значение для выработки языка, определения понятий и формирования существующих по сей день образов, посредством которых мы осмысляем и представляем себе Россию/Российскую империю и ее место в мире. В числе авторов, чьи тексты войдут в серию, будут и общеизвестные фигуры, такие как В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. М. Карамзин, М. П. Катков, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, так и менее известные сейчас, но без знакомства с которыми история русской общественной мысли XIX века явно неполна – М. П. Драгоманов, С. Н. Сыромятников, Б. Н. Чичерин и другие. Задачей данной серии является представить основные вехи в истории дебатов о русском прошлом и настоящем XIX века – золотом веке русской культуры – без идеологического выпрямления и вчитывания в тексты прошлого сиюминутной проблематики современности. По нашему глубокому убеждению, знакомство с историей русских общественных дебатов позапрошлого столетия без стремления непосредственно перенести их в современность – гораздо более актуальная задача, чем попытка использовать эти тексты прошлого в качестве готового идеологического арсенала.

[1] В последнем случае имеется в виду подданство автора, в отличие от самоидентификации.

Александр Герцен: первый опыт синтеза западничества и славянофильства[2]

На Герцене как на даровитом искреннем человеке видна эволюция передового человека. Он поехал на Запад, думая, что там найдет лучшие формы. Там перед его глазами прошли революции, и у него появилось разочарование в западном строе и особенная любовь и надежда на русский народ.
Л.Н. Толстой в разговоре с Э. Моодом, 17 октября 1906 г.[3]

Для советских интеллектуалов на протяжении десятилетий А.И. Герцен (1812–1870) был одной из немногих официально разрешенных «отдушин» – при всех колебаниях курса в отношении интерпретации конкретных фигур, при постоянном пересмотре пантеона, выдвижении одних и исключении других[4], его место было обеспечено благодаря во многом случайной статье В.И. Ленина[5], написанной к столетней годовщине со дня его рождения, в 1912 г. Он был тем, кто входил в генеалогию праотцов русской революции, вместе с декабристами числясь в ряду «дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века». И, как и декабристы, для советского мира он был узаконенным выходом в иной мир – мир дворянского быта, иных, далеких от «революционной этики», представлений о должном, иных способов жить с собой и с другими.

И декабристам, и Герцену пришлось поплатиться за этот статус – включенные в революционный канон как «предшественники» и «провозвестники» (причем декабристы во многом благодаря усилиям самого Герцена и той интерпретации, которую он дал декабристскому движению), они при пересмотре отношения к самой революционной традиции оказались пострадавшими – теперь они выступили в качестве тех, кто готовил условия и создавал предпосылки для последующей катастрофы, русский XX век выступил результатом их усилий, – и оценка последнего возвратным образом стала основанием для пересмотра отношения к первым. Впрочем, как предшественники отдаленные, они не столько вызвали посмертное осуждение, сменившее хвалу, сколько потеряли интерес – если теперь можно было непосредственно изучать тот самый дворянский мир, интеллектуальные разногласия и быт московских салонов 1830–1840-х, то потребность в камуфляже исчезла.

Для советского мира Герцен был дозволенной альтернативой и в ином, куда более существенном смысле, поскольку его тексты, одновременно почитаемые и яркие, представляли альтернативу не «социализму», но в рамках «социализма», другой вариант, не вынуждавший противопоставлять себя советскому миру, но ставить под вопрос, опираясь на авторитет классика, то, что иначе выступало бесспорным – отстаивать словами «русского социалиста» принципы, которые, без ссылки на авторитет, выглядели бы апелляцией к «либерализму» (противопоставляемому «демократизму»). Но там, где ранее он был пределом дозволенного, теперь он стал с противоположной стороны – вновь столь же непоследовательный и колеблющийся, теперь он представал как частный случай русского движения «влево», неспособности удовлетвориться конкретными решениями, принять существующий порядок вещей и стремиться к частным

---

[2] Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».

[3] Литературное наследство. Т. XC: У Толстого. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Кн. 2. 1906–1907. – М.: Наука, 1979. С. 273.

[4] Достаточно вспомнить историю изучения народничества, после бурного расцвета в 1920-х затем фактически ликвидированную и лишь уже в весьма скромных формах вновь начавшую развиваться с 1960-х.

[5] *Ленин В.И.* Памяти Герцена. – Первоначальная публикация: Социал-демократ № 26, 8 мая (25 апреля) 1912 г.

переменам, а не к общему изменению всего сущего. Изучая Герцена как основоположника русской революционной традиции, Мартин Малиа[6] интересовался именно тем, почему в русской мысли возобладали крайние течения – случай Герцена представлялся ему в этом отношении весьма показательным и многое проясняющим: как и многие другие интеллектуалы в ситуации, когда они не имеют возможности влиять на существующий порядок вещей, он не испытывал необходимости сдерживать ход своей мысли – реальные ограничители, в виде попыток применить эти идеи на практике, отсутствовали, но в равной мере они отсутствовали и для куда более умеренных. Независимо от того, насколько радикальной или умеренной, реформистской или революционной, конституционной или ниспровергающей была политическая позиция, она в любом случае оказывалась противостоящей власти, в любом случае существующий режим рассматривал ее сторонника в качестве врага, а не оппонента, а раз так, то исчезали причины быть сдержанным в своих мыслях и чаяниях, поскольку в любом случае путь к их осуществлению мог лежать лишь через радикальное изменение существующего порядка вещей – всему надлежало измениться, чтобы что-нибудь могло быть воплощено. Спор или скорее ссора Герцена с «молодой эмиграцией» в подобной интерпретации означал не столкновение двух разных позиций, а Немезиду – Герцен столкнулся с теми, кто шел и рассуждал по той же модели, что была присуща ему в молодые годы и в первые годы эмиграции.

Для левых Герцен изначально был слишком «справа», его вновь и вновь – и не без оснований – подозревали в либерализме (с чем охотно соглашалась отечественная либеральная мысль в начале XX века, дабы с опорой на авторитет Герцена противостоять революционным лозунгам), непоследовательности, колебаниях. Он был легко отдан ими истории, поскольку извлечь из его наследия нечто актуальное для современной левой мысли если и можно, то не прямым путем, он не только слишком погружен в свое время, в давно отошедшие споры, так к тому же является и автором тех самых упований на возможность «крестьянского» социализма, на обходной путь к будущему, минующий буржуазный мир, которые несколько раз были похоронены в разных уголках мира сначала в XIX, а затем и в XX веке.

Если сами причины относительного ослабления интереса к фигуре Герцена достаточно понятны, то это еще не делает подобное положение вещей справедливым. Помимо прочего Герцен – один из немногих больших русских интеллектуалов XIX века, хорошо известных не только в России, но и в мире, тот, чье интеллектуальное наследие в прямой или, теперь гораздо чаще, косвенной форме прослеживается до сих пор. Для XIX века он представал скорее парадоксалистом – в век, начавшийся большими философскими системами и продолжившийся огромными постройками «позитивного» знания, его стиль мышления – нелюбовь к масштабным теоретическим построениям, претендующим на универсальное объяснение и предписывание всеобщих законов, преднамеренный акцент на вероятности, возможности, игре случайностей, восприятие истории как вариативной, что не делало ее лишенной смысла, но представляла смысл, исторически реализовавшийся, лишь одним из принципиально возможных – скорее удивлял, чем привлекал следовать, ведь вождь и теоретик должен направлять, а не рассуждать на глазах ведомых, говорить от лица «Истории», а не от собственного[7].

* * *

В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций – от сомневающегося и старающегося разобраться в аргумен-

[6] См.: *Малиа М.* Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855 / вступ. ст. А. Павлова; пер. с англ. А. Павлова, Д. Узланера. – М.: Территория будущего, 2010.

[7] См. замечательный по глубине философский анализ мысли Герцена: *Хестанов Р.З.* Александр Герцен: импровизация против доктрины. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

тах сторон в начале 1840-х к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» в 1846–1847 гг. к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, глубоко оригинальной позиции; в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон; в частности дав социалистическую интерпретацию русской общине; т. е. осуществив акклиматизацию «социализма» и создав «русский социализм».

Собственно; сам спор западников и славянофилов; явное противостояние двух позиций – довольно непродолжительный эпизод в истории русской мысли; почти целиком укладывающийся в границы 1840-х годов с прологом в 1820–1830-х. Уже к 1850-м это противостояние отошло в прошлое: символическим водоразделом служит смерть В. Г. Белинского в 1848 г. – полемисты продолжали перебрасываться аргументами; в первую очередь; правда; «западники»[8]; но линии противостояния быстро меняются; и уже к 1856 г. это разграничение практически ни о чем не говорит в текущих спорах. Сам Герцен в 1863 г. писал:

> «[…] не мы придали учено-литературному спору тридцатых годов историческую важность в умственном развитии России; а так и было на деле. О самом споре мы не будем распространяться; об нем писали много; мы только напомним; что одна сторона стремилась продолжить петровский переворот в смысле *революционном,* усвоивая России все выработанное народами с 1789 и перенося на нашу почву английские учреждения; французские идеи; германскую метафизику. Считая западные формы гражданственности выше форм топорной работы Петра I и его наследников; они были совершенно правы; но принимая их за *едино спасающие,* общечеловеческие формы, идущие ко всякому быту они впадали в вечную ошибку французских революционеров. Противники их возражали им, что формы, выработанные западной жизнью, хотя бы и имели общечеловеческое развитие, но рядом с ним должны были сохранить и свои частно-народные элементы, что эти элементы останутся нам чужими и не удовлетворят нас, потому что у нас другие притязания и другие препятствия, другое прошедшее и другая обстановка в настоящем. К этому присоединялась вера в элементы, лежащие в бытие народном, и раздражительная обидчивость за прошедшее.
>
> До ясности не договорились ни те, ни другие, но по дороге было возбуждено множество вопросов; в полном разгаре спора его настигла Февральская революция» (XVII, 100–101)[9].

Как уже отмечалось, в этом споре Герцен – один из наиболее заметных представителей «западничества», наряду с В. Г. Белинским, Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным: блистательный публицист сначала «Отечественных записок», а затем «Современника», известный беллетрист, он куда чаще спорит со славянофилами не на страницах журналов, а в московских гостиных, часами препираясь о самых разных предметах с А. С. Хомяковым, не меньшим, чем он сам, острословом и диалектиком, охотно и вдумчиво беседует с братьями Киреевскими, Иваном и Петром, которых, в отличие от Хомякова, он уважает и признает не только их ум, но и нравственный авторитет, дружит с молодым К. С. Аксаковым и приятельствует с Ю. Ф. Самариным. Разногласия между западниками и славянофилами все возрастают, во многом благодаря петербургским западникам во главе с Белинским – заочная полемика, не говоря уже о характере Виссариона Григорьевича, сильно способствует резкости постановки вопросов и решительности выводов, заочно трудно дружить, но легко ссориться, – ив 1844 г. два кружка

---

[8] По причине отсутствия у «славянофилов» собственного печатного органа; а с 1852 г. и постигшего основных участников славянофильского кружка цензурного запрета; снятого только в 1856 г.; уже в новое царствование

[9] Здесь и далее все ссылки на издание: *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 30 т. (М.: Изд-во АН СССР, 1954–1965) даются в тексте, римскими цифрами обозначается соответствующий том, арабскими – страницы.

разойдутся окончательно. Идейные споры перерастали в личное отчуждение; о попытке примирения, предпринятой год спустя, Герцен вспоминал в сопровождении следующей сентенции:

> «Примирения вообще только тогда возможны, когда они не нужны, то есть когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. […] Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением» (IX, 166).

Там, где дружат идеями, из-за идей и расходятся, не имея возможности ухватиться за то, что держит остальных: общность дел, знакомств, родство и свойство, житейское обыкновение. Люди, оказавшиеся вместе лишь потому, что они разделяют одни и те же идеи, обречены либо до конца держаться за неизменность этих идей, оберегать их от всякого пересмотра или выяснения деталей, которые можно понять различно, либо вынуждены разойтись, если их идеи пойдут розно:

> «Если бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений… какие же могли быть уступки на этом поле?..» (IX, 212).

В 1847 г., когда Герцен уезжал на Запад, и от западнического круга мало что осталось, споры о бессмертии души остались здесь, за границей, и к последнему году в России Герцен вновь был по-настоящему близок только с Огаревым. Он уезжал, уже внутренне готовый разочароваться: в «воображаемый Запад» было вложено столько надежд, что любая реальность не могла бы их удовлетворить. Уже в 1860-е Герцен писал, что в московский период любил Запад книжно, а «еще больше я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, *западником*» (XVIII, 278).

Но помимо этого был и еще один сильный мотив к разочарованию. Белинский мог спокойно существовать, не испытав ничего подобного герценовскому пересмотру идей, в Европу он, правда, попал почти одновременно с Герценом, но, в отличие от последнего, европейские страны и их быт его интересовали мало, и в Париже он оставался целиком погруженным в русские споры. Он был болен, чувствовал, что умирает, – он жил остатками жизни, тогда как Герцен, на удивление, сознавал себя молодым, все еще готовился жить. Пора подведения итогов, заката для него наступит позже, после гибели матери и сына, смерти жены, – тогда, в 1852 г., он будет считать, что все закончилось и для него, и для Европы[10], в этом случае особенно заметно расхождение времени большой истории, для которой «Герцен» только по существу и появится в эти годы, и времени личного, для которого почти все эти годы, с 1852-го по 1868-й, пройдут в написании, переписывании, компановке воспоминаний, Герцен будет жить теперь обращенным в прошлое, с тем, правда, как это и свойственно историзму, чтобы из прошлого не столько объяснить настоящее, сколько предуказать будущее.

В отличие от Белинского, Герцен довольно быстро вошел в европейский контекст – он перестал быть наблюдателем, а стал деятелем, сблизился с Гервегом, Прудоном, Мишле, Кине, стал частью «международной демократии», но для этого, если он желал не просто примкнуть к какому-то другому движению, стать как Рудин персонажем чужой революции[11], а иметь свое

---

[10] «Знаменательно, – пишет Л.И. Чуковская, – что как раз тот отдел пятой части [„Былого и дум“], который посвящен перипетиям семейной драмы, открывается главой, носящей название драмы исторической: „1848“» [Чуковская А.И. Избранное. – М.: Время, 2011. С. 18], и чуть ранее отмечает: «В „Былом и думах“ жизнь Герцена осмыслена, пережита и воспроизведена в […] органическом слиянии с жизнью общественной […]» [там же. С. 14], когда характеристики последней объясняют первую и наоборот – не в смысле «влияния на историю», а как жизнь «человека исторического».

[11] См.: *Тучкова-Огарева Н.А.* Воспоминания. – М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. С. 61–63. Мемуаристика дает яркое

собственное дело, то им могло стать только русское. Как и многие после него, Герцен в Европе внезапно осознал, что можно быть французом, англичанином, итальянцем, немцем или бельгийцем, но нельзя быть просто «европейцем» – быть таковым можно было только в России, но не в Европе. Вопрос, стоявший перед Герценом еще в период его московских споров и в новом ракурсе представший перед ним на Западе, – об исторических судьбах России, о том, какое место ей суждено занимать в мире.

Европа, которую увидел Герцен, оказалась не только миром торжествующего мещанства – но и миром, в котором он не увидел никакого другого имеющего шансы осуществиться идеала, кроме мещанского. Работник, восстающий против существующего порядка, в конце концов предстал ему как мечтающий стать тем же самым буржуа – их спор оказался не спором о желаемом, а лишь раздором между теми, кто уже обладает и не желает уступать своего положения, и теми, кто не обладает, но надеется обладать. Впрочем, в своих оценках Герцен был непостоянен – то он готов был разглядеть обещание иного, лучшего в европейской жизни, то вновь склонялся к пессимизму, из общего приговора он с охотой исключал Италию, делал многочисленные оговорки об Англии, так что оставались, по существу, под именем «Европы» Франция и Германия, а учитывая, что немецкой жизни Герцен не знал и не любил, для него, не составлявшего здесь исключения, «Европа» оказывалась практически синонимичной Франции.

Здесь вновь необходимо напомнить, что Герцен был и оставался русским барином – независимо от своих сознательных взглядов, он впитал все привычки московского быта. Одна даже форма его эмигрантской публицистики несет явные следы своего происхождения: он любил обращать свои передовые статьи и размышления в «письма» – «письма к противнику», «письма к будущему другу», «письма к старому товарищу», многочисленные публичные письма к государю императору Александру Николаевичу. Константин Леонтьев, в советской историографии традиционно (и нельзя сказать, чтобы не заслуженно) носивший имя реакционера, закономерно симпатизировал публицистике Герцена – крайности сходились в том, что одинаково отвергали существующий порядок вещей и то ближайшее будущее, которое он обещает. Герцен надеялся убежать от него в «другое будущее», оттого неизменно и настойчиво подчеркивая непредопределенность истории, не жесткую детерминированность ее путей, зависящих от человеческого решения, консерватор надеялся замедлить ход событий, реакционер – повернуть историю вспять в конце концов для того, чтобы найти там другое начало.

Отвращение к мещанству, «торжествующему порядку», не стало для Герцена поворотом к консерватизму хотя бы потому, что у него изначально не было ничего, что сохранять, – он был юридическим наследником, но незаконнорожденным сыном, он был русским барином по образу жизни, по привычкам, но при этом «не вполне своим», занять свое место с самого начала означало для него это место создать. Но создавать он хотел именно «свое»: в отличие от многих современников, он не верил в железные законы исторической необходимости, потому не уверял, но питал надежду на возможность для России сказать свое слово в мировой истории, решить те вопросы, которые Европа не могла решить, здесь сближаясь не столько со славянофилами, сколько с Чаадаевым, писавшим в «Апологии сумасшедшего» (1837):

описание участия в римских событиях 1848 г., несения итальянского знания: «Когда волонтеры стали собираться в Милан, устроилась огромная демонстрация, которая, направляясь из Корсо в Колизей, по дороге остановилась перед церковью, где происходило богослужение, и просила священника благословить итальянское знамя, отправлявшееся в Ломбардию. Часть нас вошла в церковь, где все встали на колени; мы не знали, что нам делать, и стояли как посторонние; тогда к нам подошел один из революционных начальников или руководителей демонстрации и попросил нас встать тоже на колени, чтобы не оскорблять религиозного чувства толпы.Когда мы вышли из церкви, один из них вручил мне знамя, прося меня нести его перед народом. Я пошла впереди нашей длинной колонны, держа тяжелое знамя обеими руками; остальные женщины шли около меня. […]В это время ко мне подошла молодая итальянка, незадолго присоединившая к нам.– Я не сомневаюсь, что вы итальянка, – сказала она, – но я из самого Рима, а потому я думаю, что мне следует нести это знамя.Я наклонила голову в знак согласия и молча передала ей знамя, хотя мне было очень грустно с ним расставаться: я несла итальянское знамя с такою гордостью, с таким восторгом».

> «Несомненно, что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый новый день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым.
>
> Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен […]. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли. Будем помнить, что для нас не существует непреложной необходимости, что благодаря небу мы не стоим на крутой покатости, увлекающей столько других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую новую идею, задевающую наш разум; что нам позволено надеяться на благоденствие еще более широкое, чем то, о котором мечтают самые пылкие служители прогресса […J»[12].

Но если чаадаевская свобода – это свобода от прошлого, свобода «чистого листа»[13], то Герцен, надеясь на великое будущее, одновременно укореняет его в прошлом, в особенностях русского социального строя, в русской общине, перенимая славянофильский взгляд и вместе с тем лишая его религиозной составляющей. Прошлое России дает ей возможность иного, чем у Европы, будущего, более того, дает ей возможность стать освободительницей человечества, найдя решение социального вопроса. Разумеется, между славянофилами и Герценом останется пропасть – атеизм был для него критерием интеллектуальной зрелости и интеллектуальной честности, способности смотреть на мир, воспринимая его таким, как он есть, не теша себя иллюзиями и не вводя в заблуждение других. Его историческое видение целиком построено на возможностях и вероятностях, он не отрицает конечное торжество мещанства, он только не готов отказать себе в праве осуждать его – финал истории может быть отвратителен, но зритель вправе освистать представление.

В свою очередь менялись и славянофилы – возможность общественной деятельности, открывшаяся на исходе Крымской войны, побуждала их, как и Герцена, не к пересмотру взглядов, но к отказу от ригоризма, к поиску союзников. Быть согласным в одном теперь не подразумевало требования быть согласным и во всем прочем, потребность действовать значила искать соглашения по конкретным вопросам, согласие видеть Россию предназначенной или способной пойти своим собственным историческим путем теперь оказывалось само по себе ценным признанием – если до того важнейшим было стремление сохранить чистоту рядов, быть в кругу хоть малой, но верной общины единомышленников, то теперь много значила способность привлечь других – полусогласных, попутчиков, симпатизантов[14].

Разведет окончательно Герцена и славянофилов отнюдь не разница в понимании философии истории или в (анти-) религиозных убеждениях, а польское восстание 1863 г. Впрочем, и здесь все далеко от однозначности – так, братья Елагины (по матери приходившиеся братьями Петру и Ивану Киреевским) решительно выступили против военного подавления польского восстания, да и позиция Ивана Аксакова была длительное время далека от определенности, он пытался одновременно осудить восставших и отмежеваться от правительства, найти некий «третий путь». Однако в конечном счете ведущие представители славянофильства, такие как

---

[12] *Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 1991. С. 535.

[13] «Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться, как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление». [Там же. С. 527.]

[14] См. подробнее обзор: *Тесля А.А.* Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение. – 2012. – Т. 12, № 1. – С. 62–85.

Аксаков и Самарин, деятельно поддержали правительство – для них оказалось невозможным противопоставить «страну» и «государство», последнее при всех своих недостатках понималось как историческая форма народа, а польское восстание – как попытка не освободить польский народ, а восстановить польскую государственность, обеспечивающую польское господство над Белоруссией и Украиной. Если Герцен фактически воспроизводил лозунг «Za naszą i waszą wolność» («За нашу и вашу свободу»)[15]; то для его славянофильских оппонентов речь шла о том, что под требованием «свободы» скрывалось притязание на господство.

Для Герцена 1863 год явился тяжелейшим испытанием – он с предельной ясностью обнаружил, что русское общественное мнение отвернулось от него. На протяжении всех первых месяцев восстания он призывает голоса из России, надеется, что поддержка, полученная правительством, лишь показная, увещевает тех, кто, как он думает, молчит из страха заговорить:

> «Прежде по крайней мере, засекая целые деревни для аракчеевских поселений, усмиряя крестьян от Пугачева до Бездны, офицеры молчали – может, они не понимали, что делали. Теперь и этого оправдания нет. Они идут с полным сознанием, они подписывают адресы добровольной преданности.
>
> И все это падает на народ. Его обвинят в племенной ненависти, в алчной стяжательности, его обвинят в том, что для него дороже воли сила, что, упоенный своей гордыней, он готов быть рабом для того, чтоб покичиться тем, что может в цепи ковать других… Что же после этого может быть естественнее, как ненависть к такому народу всех остальных?
>
> … Если б мы верили, что русский народ в своем азиатском раболепии любит господство над другими народами, и в силу этого выносит рабство, и в силу этого станет теперь за правительство, против Польши, нам осталось бы только желать, чтоб Россия как государство была унижена, обесславлена, разбита на части; желать, чтоб оскорбленный и попранный народ русский начал новую жизнь, для которой память прошедшего была бы угрызением совести и грозным уроком.
>
> Но не будем клеветать на него: нет доказательств, что он за эти злодейства» (XVII, 42).

И вновь:

> «Было время, в которое высоко ценилась тихая слеза сочувствия, рукопожатье и шепотом сказанное слово участья с глазу на глаз.
>
> Этого мало теперь.
>
> Тогда все молчало. Власть молча продавливала грудь, молча ехали кибитки, молча плелись ссыльные, молча смотрели им вслед оставшиеся. Говорить было трудно, что-то не понималось, не было ясно; мы ни себя, ни народа порядком не знали… был общий катехизис, очищавший нас, но далекий от приложения. […] Перед говорящим молчит раб. Слово ровно принадлежит мне *и ему*. Слово принадлежит всякому, слово – начало

[15] В первые месяцы восстания Герцен писал: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих. Мы с ними, потому что твердо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести блага народам, которых ведет на смычке Петербург. Всемирные монархии Чингизов и Тамерланов принадлежат к самым начальным и самым диким периодам развития – к тем временам, когда сила и обширность составляют всю славу государства. Они только возможны с безвыходным рабством внизу и неограниченным тиранством наверху Была ли нужна или нет наша имперская формация, нам на сию минуту дела нет – она факт. Но она сделала свое время и занесла одну ногу в гроб – это тоже факт. Мы стараемся от всей души помочь другой ноге.Да, мы против империи, потому что мы за народ!» (XVII, 91).

> свободы. Говорите же, говорите, потому что вам молчать нельзя. От вас ждут речи!» (XVII, 66–67).

В скором времени Герцену пришлось убедиться в истинном, непоказном характере этой поддержки. Спустя несколько месяцев он писал:

> «Нам не приходится роптать, а с сокрушенным сердцем подумать о самих себе. Всего больше виноваты люди, страстно желавшие блага русскому народу, любившие его темным инстинктом и пророческой мыслью, магнетизмом и пониманьем, чувствовавшие, что время настает, и не умевшие ничего сделать вовремя.
>
> Что винить правительство за то, что оно защищает себя всем чем ни попало! Да и виновато ли оно в том, что при первом едва-едва освобожденном слове литература его продала; виновато ли оно, что, пересаживая науку с короткой цепи на длинную, правительство с удивлением нашло новую полицию в университетах и гласное III отделение в журналах? Мы должны себя винить» (XVII, 168).

Иван Аксаков со своей стороны противопоставлял Герцена Бакунину и под псевдонимом Касьянов писал «из Парижа»[16]:

> «Но кого мне искренно жаль, так это Герцена. Вы знаете резкую противоположность наших основных воззрений, вы знаете, как я смотрю на „Колокол“ но тем не менее я многое прощал этому человеку ради высокой искренности его убеждений и всегдашней готовности отречься от своего взгляда, если он убеждался в его ошибочности. Мне случилось его видеть вскоре после Восточной войны, и он рассказывал мне, какой мучительный год он прожил один в Англии, вдали от России, осажденный со всех сторон сильнейшим неприятелем, с каким лихорадочным трепетом брался он каждое утро за газеты, боясь прочесть в них известие о взятии Севастополя, как гордился его мужественной обороной. Когда я упрекал его за вредное влияние на русскую молодежь, в которой его сочинения развивают кровожадные революционные инстинкты, и указал на одну фразу его статьи в „Полярной Звезде“ Герцен оправдывался с жаром, отклонял от себя упрек в кровожадности, старался дать иное толкование своей фразе и положительно уверял, что не принимал ни малейшего участия в воззваниях к раскольникам, незадолго перед тем перехваченных в России»[17].

Последующие годы стали годами упадка, сомнений, попыток разобраться с происшедшим и вновь овладеть общественным мнением, конфликтов с «молодой эмиграцией», не признававшей его авторитета, но пытавшейся использовать последний, разочарования, – и перед смертью попыток образумить двух своих старейших товарищей, Огарева и Бакунина, привить должное сомнение и здравый смысл к революционному энтузиазму, радикализму ниспровержения, т. е. выступить в той самой роли, в какой старые московские друзья старались вразумить на свой лад Герцена за десять с небольшим лет до того.

---

[16] День. 1863, № 19 от 11 мая.

[17] *Аксаков И.С.* Сочинения. Т. II: Славянофильство и западничество. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891. С. 113.

* * *

Особое место Герцена в истории, начатой спором западников и славянофилов, заключалось в первом варианте синтеза этих двух видений русской истории и места России в мире, сохранявшим универсализм и в то же время утверждавшим историческое своеобразие, вбирающем русскую историю не как бесплодный перечень ошибок и уклонений, не как историю отставания и попыток догнать, воссоединиться с мировой историей, но как хранение начал, которые могут стать новым принципом, новой идеей, способной обогатить человеческое общежитие. Он предложил атеистический и антигосударственнический политический проект, который давал интеллигенции не только роль агентов модернизации в пространстве Империи, но и основание для голоса во внешнем мире, не только учеников вовне и учителей внутри, но имеющих право на свой собственный голос в сообществе народов, причем говорящий от лица справедливости. Уникальность Герцена или, возможно, уникальность его исторического момента в том, что справедливости политическая, социальная и личная, индивидуальная оказывались не конфликтующими друг с другом.

Андрей Тесля

А. И. Герцен
«Наши» и «не наши» письма русского (сборник)

Главы из «Былого и дум» (1858)
Часть IV

Глава XXIX
Наши

I

Московский круг. – Застольная беседа. – Западники (Боткин, Редкий, Крюков, Е. К<орш>)

Поездкой в Покровское и тихим летом, проведенным там, начинается та изящная, возмужалая и деятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъезда.

Судорожно натянутые нервы в Петербурге и Новгороде – отдали, внутренние непогоды улеглись. Мучительные разборы нас самих и друг друга, эти ненужные разбереживания словами недавних ран, эти беспрерывные возвращения к одним и тем же наболевшим предметам миновали; а потрясенная вера в нашу непогрешительность придавала больше серьезный и истинный характер нашей жизни. Моя статья «По поводу одной драмы» была заключительным словом прожитой болезни.

С внешней стороны теснил только полицейский надзор; не могу сказать, чтоб он был очень докучлив, но неприятное чувство дамокловой трости, занесенной рукой квартального, очень противно.

Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский – ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала в этой личности. Со многими я был согласнее в мнениях, но с ним я был ближе – там где-то, в глубине души.

Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто участвуя в обозрениях и журналах, кто изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.

Мы были уж очень не дети; в 1842 году мне стукнуло тридцать лет; мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь с тем успокоенным, ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарились, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках лите-

ратурного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его suffisance[18] нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде.

Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном состоянии – *он линяет*. Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменила его, каждая оставила след и сбила понятия, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство несовместно с нашим характером – и слава богу!

Распущенность ли наша, недостаток ли нравственной оседлости, определенной деятельности, юность ли в деле образования, аристократизм ли воспитания, но мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой – гораздо проще западных людей: не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не так на Западе.

С людьми самыми симпатичными как раз здесь договоришься до таких противоречий, где уж ничего нет общего и где убедить невозможно. В этой упрямой упорности и непроизвольном непонимании так и стучишь головой о предел мира завершенного.

Наши теоретические несогласия, совсем напротив, вносили более жизненный интерес, потребность деятельного обмена, держали ум бодрее, двигали вперед; мы росли в этом трении друг об друга и в самом деле были сильнее тою composite[19] артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде.

С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного, поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз!..

Наш небольшой кружок собирался часто, то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.

Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки.

Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю более чем с любовью – чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбарана, мы не плакали о грехах мира сего – мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы *кой на что*, не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен.

Ты прав, мой друг, ты прав…

---

[18] Самонадеянность (*франц.*). – *Примеч. ред.*

[19] Здесь: сплоченностью (*франц.*). – *Примеч. ред.*

Да, ты прав, Боткин – и гораздо больше Платона, – ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти пантеистическое наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым словам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку.

Недаром покидал ты твою Маросейку, ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавных, высочайших икр, soberana pantorrilla!

Ведь вот и Р<едкин> был в Испании, но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для «юридыческих» комментарий к Пухте и Савиньи, вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барцелоне (окончившееся совершенно тем же, чем всякая качуча, т. е. ничем) и так много рассказывал об нем, что куратор Строгонов, качая головой, стал посматривать на его больную ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что «радикальный юрист» зашиб себе ногу, свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую.

– Что за неуважение к науке! Ты, братец, знаешь, что я таких шуток не люблю, – говорит строго Р<едкин> и вовсе не сердится.

Это ввв-сёмо-о-жетбыть, – замечает, заикаясь, Е. К<орш>, – но отчего же ты себя до того идентифировал[20] с наукой, что нельзя шутить над тобой, не обижая ее?

– Ну, пошло, теперь не кончится, – прибавляет Р<едкин> и принимается с настойчивостью человека, прочитавшего всего Роттека, за суп, осыпаемый слегка остротами Крюкова – с изящной античной отделкой по классическим образцам.

Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на осетрину, *ее объясняет* сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем Агассис кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не из боку в бок, а склоняясь; один К<етчер>, равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом.

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду продолжать их; они почти невольно сорвались с пера, когда мне представились наши московские обеды; на минуту я забыл и невозможность записывать шутки и то, что очерки эти живы только для меня да для немногих, очень немногих оставшихся. Мне бывает страшно, когда я считаю, – давно ли перед всеми было так много, так много дороги!..

…И вот перед моими глазами встают наши Лазари, но не с облаком смерти, а моложе, полные сил. Один из них угас, как Станкевич, вдали от родины – И. П. Галахов.

Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. К<орш>а остроты и шутки искрились, как шипучее вино, от избытка сил. Юмор Галахова не имел ничего светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждущего выйти на покой, на гармонию, но без большой надежды.

Воспитанный аристократически, Галахов очень рано попал в Измайловский полк и так же рано оставил его и тогда уже принялся себя воспитывать в самом деле. Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить *истину*, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни. Он не обращал внимания, так, как это делает большая часть французов, на то, что *истина* только дается методе, да и то остается неотъемлемой от нее; истина же как результат – битая фраза, общее место. Галахов искал не с скромным самоотвержением, что бы ни нашлось, а искал именно истины

[20] Отождествил, от identifier (*франц.*). – *Примеч. ред.*

успокоительной, оттого и неудивительно, что *она* ускользала от его капризного преследования. Он досадовал и сердился. Людям этого слоя не живется в отрицании, в разборе, им анатомия противна, они ищут готового, целого, созидающего. Что же Галахову мог дать наш век, и притом в николаевское царствование?

Он всюду бросался, постучался даже в католическую церковь, но живая душа его отпрянула от мрачного полусвета, от сырого, могильного, тюремного запаха ее безотрадных склепов. Оставив старый католицизм иезуитов и новый – Бюше, он принялся было за философию; ее холодные, неприветные сени отстращали его, и он на несколько лет остановился на фурьеризме.

Готовая организация, обязательный строй и долею казарменный порядок фаланстера, если не находят сочувствия в людях критики, то, без сомнения, сильно привлекают тех усталых людей, которые просят почти со слезами, чтоб истина, как кормилица, взяла их на руки и убаюкала. Фурьеризм имел определенную цель: труд, и труд сообща. Люди вообще готовы очень часто отказаться от собственной воли, чтоб прервать колебание и нерешительность. Это повторяется в самых обыкновенных, ежедневных случаях. «Хотите вы сегодня в театр или за город?» – «Как вы хотите», – отвечает другой, и оба не знают, что делать, ожидая с нетерпением, чтоб какое-нибудь обстоятельство решило за них, куда идти и куда нет. На этом основании развилась в Америке кабетовская обитель, коммунистический скит, ставропигиальная, икарийская лавра. Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились наконец из сил, сомнения начали одолевать ими; испугавшись их, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку и подчинению, которое, конечно, не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев.

Галахов был слишком развит и независим, чтоб совсем исчезнуть в фурьеризме, но на несколько лет он его увлек. Когда я с ним встретился в 1847 в Париже, он к фаланге питал скорее ту нежность, которую мы имеем к школе, в которой долго жили, к дому, в котором провели несколько спокойных лет, чем ту, которую верующие имеют к церкве.

В Париже Галахов был еще оригинальнее и милее, чем в Москве. Его аристократическая натура, его благородные, рыцарские понятия были оскорбляемы на каждом шагу; он смотрел с тем отвращением, с которым гадливые люди смотрят на что-нибудь сальное – на мещанство, окружавшее его там. Ни французы, ни немцы его не надули, и он смотрел несколько свысока на многих из тогдашних героев, чрезвычайно просто указывая их мелочную ничтожность, денежные виды и наглое самолюбие. В его пренебрежении к этим людям проявлялось даже национальное высокомерие, совершенно чуждое ему. Говоря, например, об одном человеке, который ему очень не нравился, он сжал в одном слове «немец!» выражением, улыбкой и прищуриванием глаз целую биографию, целую физиологию, целый ряд мелких, грубых, неуклюжих недостатков, специально принадлежащих германскому племени.

Как все нервные люди, Галахов был очень неровен, иногда молчалив, задумчив, но par saccades[21] говорил много, с жаром, увлекал вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морил со смеху неожиданной капризностью формы и резкой верностью картин, которые делал в два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передам, как сумею, один из его рассказов, и то в небольшом отрывке. Речь как-то шла в Париже о том неприятном чувстве, с которым мы переезжаем нашу границу. Галахов стал нам рассказывать, как он ездил в последний раз в свое именье, – это был chef d'oeuvre.

---

[21] Временами (*франц.*). – *Примеч. ред.*

«…Подъезжаю к границе; дождь, слякоть, через дорогу бревно, выкрашенное черной и белой краской; ждем, не пропускают. Смотрю, с той стороны наезжает на нас казак с пикой, верхом:

– Пожалуйте паспорт.

Я ему отдал и говорю:

– Я, братец, с тобой пойду в караульню, здесь очень дождь мочит.

– Никак нельзя-с.

– Отчего?

– Извольте обождать.

Я повернул в австрийскую кордегардию, не тут-то было: очутился как из-под земли другой казак с китайской рожей:

– Никак нельзя-с!

– Что случилось?

– Извольте обождать!

А дождь все сечет, сечет… Вдруг из караульни кричит унтер-офицер: „Подвысь!“ Цепи загремели, и полосатая гильотина стала подыматься; мы подъехали под нее, цепи опять загремели, и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! В караульне какой-то кантонист прописывает паспорт.

– Это вы сами и есть? – спрашивает; я ему тотчас – цванцигер[22].

Тут взошел унтер-офицер; тот ничего не говорит, ну, а я поскорее и ему – цванцигер.

– Все в исправности, извольте отправляться в таможню.

Я сел, еду… только все кажется – за нами погоня. Оглядываюсь – казак с пикой трях-трях…

– Что ты, братец?

– В таможню ваше благородие конвоирую.

На таможне чиновник в очках книжки осматривает. Я ему – талер и говорю:

– Не беспокойтесь, это все такие книги, ученые, медицинские!

– Помилуйте, что это-с! Эй, сторож, запирай чемодан!

Я – опять цванцигер.

Выпустили наконец; я нанял тройку, едем бесконечными полями; вдруг зарделось что-то, больше да больше… зарево.

– Смотри-ка, – говорю я ямщику, – а? несчастие.

– Ничего-с, – отвечает он, – должно быть, избенка какая или овин какой горит; ну, ну, пошевеливай, знай!

Часа через два с другой стороны красное небо, – я уж и не спрашиваю, успокоенный тем, что это избенка или овинишко горит.

…В Москву я из деревни приехал в Великий пост; снег почти сошел, полозья режут по камням, фонари тускло отсвечиваются в темных лужах, и пристяжная бросает прямо в лицо мороженую грязь огромными кусками. А ведь престранное дело: в Москве только что весна установится, дней пять пройдут сухих, и вместо грязи какие-то облака пыли летят в глаза, першит, и полицмейстер, стоя озабоченно на дрожках, показывает с неудовольствием на пыль, а полицейские суетятся и посыпают каким-то толченым кирпичом от *пыли*!»

Иван Павлович был чрезвычайно рассеян, и его рассеянность была таким же милым недостатком в нем, как заикание у Е. К<орша>; иногда он немного сердился, но большей частию сам смеялся над оригинальными ошибками, в которые он беспрестанно попадал. Х<оврина> звала его раз на вечер, Галахов поехал с нами слушать «Линду ди Шамуни»; после оперы он заехал к Шевалье и, просидев там часа полтора, поехал домой, переоделся и отправился к

[22] Здесь: двадцать крейцеров (*нем.* Zwanziger). – *Примеч. ред.*

Х<овриной>. В передней горела свеча, валялись какие-то пожитки. Он в залу – никого нет; он в гостиную – там застал он мужа Х<овриной> в дорожном платье, только что приехавшего из Пензы. Тот смотрит на него с удивлением. Галахов осведомляется о пути и спокойно садится в креслы. Х<оврин> говорит, что дороги скверны и что он очень устал.

– А где же Марья Дмитриевна? – спрашивает Галахов.

– Давно спит.

– Как спит? Да разве так поздно? – спрашивает он, начиная догадываться.

– Четыре часа! – отвечает Х<оврин>.

– Четыре часа! – повторяет Галахов. – Извините, я только хотел вас поздравить с приездом.

Другой раз, у них же, он приехал на званый вечер; все были во фраках, и дамы одеты. Галахова не звали или он забыл, но он явился в пальто[23]; посидел, взял свечу, закурил сигару, говорил, никак не замечая ни гостей, ни костюмов. Часа через два он меня спросил:

– Ты куда-нибудь едешь?

– Нет.

– Да ты во фраке?

Я расхохотался.

– Фу, вздор какой! – пробормотал Галахов, схватил шляпу и уехал.

Когда моему сыну было лет пять, Галахов привез ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростом. Куклу эту Галахов сам усадил за столом и ждал действия сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свечи, но вдруг он остановился, постоял, постоял, покраснел и с ревом бросился назад.

– Что с тобой, что с тобой? – спрашивали мы все.

Заливаясь горькими слезами, он только повторял:

– Там чужой мальчик, его не надо, его не надо!

В кукле Галахова он увидел какого-то соперника, alter ego[24] и сильно огорчился этим; но сильнее его огорчился сам Галахов; он схватил несчастную куклу, уехал домой и долго не любил говорить об этом.

В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову, он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки.

С его могилы перехожу на другую, больше дорогую и больше свежую.

II

На могиле друга

Он духом чист и благороден был,

[23] Сюртуке (*франц.* paletot). – *Примеч. ред.*

[24] Второе я (*лат.*). – *Примеч. ред.*

Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.

…В 1840 году, бывши проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготовлялся занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы – все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой.

Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года, когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвратился на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко.

Грановский был одарен удивительным *тактом* сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорится с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых *строй* некоторых, едва слышных струн не по одному камертону.

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтиться. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга.

К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова, в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь», – думал каждый и свободнее дышал.

А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание; мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений от 1848 года до смерти Николая сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочетав ал ась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили.

Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации – не тех бурных, грозных, которые в «гневе своем чувствуют вполне свою жизнь», как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают;

людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и действительно Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр.

Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его; длинную, светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие, восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию.

Развитие Грановского не было похоже на наше. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать «по подряду» журнальные статьи. Он и друг его Е. К<орш>, с которым он встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовестный труд их в шипучее цимлянское «Библиотеки для чтения».

Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем, это – важнейшее событие всей его юности.

Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах… и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывного родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга; для деятельной любви различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку.

В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история – не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением? Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду. А Станкевич привил ему поэтически и даром не только воззрение современной науки, но и ее прием.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измеряют труд мысли, усомнятся в этом… Ну, а как же, спросим мы их, Прудон и Белинский? Неужели они не лучше поняли хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин? А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его *левых и правых* последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками.

Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос его существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бывает в юности.

Года через два они расстались. Грановский поехал в Москву занимать свою кафедру, Станкевич – в Италию лечиться от чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановского. Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника; я редко видел более подавляющую, тихую, молчащую грусть.

Это было вскоре после его женитьбы. Гармония, окружавшая плавно и покойно его новый быт, подернулась траурным крепом. Следы этого удара долго не проходили; не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней сохранился тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами, и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут прийти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу.

Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитора.

Они мне казались братом и сестрой, тем больше что у них не было детей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине… В эти-то потерянные часы и ими люди срастаются так неразрывно и безвозвратно.

Страшно мне и больно думать, что впоследствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановским и Огаревым, которые пламенно, глубоко любили друг друга, протеснилась, сверх теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидим, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споров наших, их сам Грановский окончил; он заключил следующими словами письмо ко мне из Москвы в Женеву 25 августа 1849 года. С благочестием и гордостию повторяю я их:

«На дружбу мою к вам двум (т. е. к Огареву и ко мне) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из *худшей стороны* самого себя. *Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа.* Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего „Крупова“? Оно написано в памятную мне ночь. С души сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мной во всей ясности своей, и я протянул тебе руку в Париже так же легко и любовно, как протягивал в лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Не талант твой только подействовал на меня так сильно. От этой пьесы мне повеяло всем тобой. Когда-то ты оскорблял меня, говоря: „Не полагай ничего на личное, верь в одно общее“, а я всегда клал много на личное. Но личное и общее слилось для меня в тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя».

Пусть же эти строки вспомнятся при чтении моего рассказа о наших размолвках…

В конце 1843 года я печатал мои статьи о «Дилетантизме в науке», успех их был для Грановского источником детской радости. Он ездил с «Отечественными записками» из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились. Вслед за тем пришлось и мне видеть успех Грановского, да и не такой. Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.

– Лекции Грановского, – сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, – *имеют историческое значение.*

Я совершенно с ним согласен. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свиданья, встречи beau mond'a[25]. Для этого он не нарядил историю в кружева и блонды, совсем напротив – его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций à la française ставящих огромные точки на крошечные *i* вроде нравоучений после басни. Излагая события, художественно группируя их, он говорил *ими* так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию.

Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавших сквозь слезы «браво! браво!». Выйти не было возможности; Грановский, бледный как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице – в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался, измученный, в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета – и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы молча заплакали.

…Такие слезы текли по моим щекам, когда герой Чичероваккио в Колизее, освещенном последними лучами заходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся народу *римскому* отрока-сына за несколько месяцев перед тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными палачами венчанного мальчишки!

Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими – в революцию!

Где революция? Где Грановский? Там, где и отрок с черными кудрями и широкоплечий popolano[26], и другие близкие, близкие нам. Осталась еще вера в Россию. Неужели и от нее придется отвыкать?

И зачем тупая случайность унесла Грановского, этого благородного деятеля, этого глубоко настрадавшегося человека, в самом начале какого-то другого времени для России, еще неясного, но все-таки другого; зачем не дала она ему подышать новым воздухом, которым повеяло у нас и который не так крепко пахнет застенком и казармами!

Грубо поразила меня весть о его смерти. Я шел в Ричмонде на железную дорогу, когда мне подали письмо. Я прочитал его идучи и истинно – сразу не понял. Я сел в вагон, письма не хотелось перечитывать: я боялся его. Посторонние люди, с глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрел на все и думал: «Да это вздор! Как? Этот человек в цвете лет, он, которого улыбка, взгляд у меня перед глазами, – его будто нет?..» Меня клонил тяжелый сон, и мне было страшно холодно. В Лондоне со мной встретился А.

[25] Высшего света (*франц.*). – *Примеч. ред.*

[26] Простолюдин (*итал.*). – *Примеч. ред.*

Таландье; здороваясь с ним, я сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез.

Мало было у нас сношений в последнее время, но мне *нужно* было знать, что там – вдали, на нашей родине, – *живет* этот человек!

Без него стало пусто в Москве, еще связь порвалась!.. Удастся ли мне когда-нибудь одному, вдали от всех посетить его могилу? Она скрыла так много сил, будущего, дум, любви, жизни, как другая, не совсем чуждая ему могила, на *которой я был*!

Там перечту я строки грустного примирения, которые так близки мне, что я их выпросил в дар *нашим* воспоминаниям.

МЕРТВОМУ ДРУГУ

То было осенью унылой…
Средь урн надгробных и камней
Свежа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали —
Рукой твоих учеников
На ней рассыпаны лежали
Венки из листьев и цветов.
Над ней, суровым дням послушна, —
Кладбища сторож вековой, —
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главой,
И речка, берег омывая,
Волной бесследною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая,
Вдоль нескончаемой стези.

Твоею дружбой не согрета,
Вдали шла долго жизнь моя,
И слов последнего привета
Из уст твоих не слышал я.

Размолвкой нашей недовольный,
Ты, может, глубоко скорбел;
Обиды горькой, но невольной
Тебе простить я не успел.
Никто из нас не мог быть злобен,
Никто, тая строптивый нрав,
Был повиниться неспособен,
Но каждый думал, что он прав
И ехал я на примиренье,
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять…
Но было поздно…

В день унылый,
В глухую осень, одинок
Стоял я у твоей могилы
И все опомниться не мог.
Я, стало, не увижу друга?
Твой взор потух, и навсегда?
Твой голос смолк среди недуга?
Меня отныне никогда
Ты в час свиданья не обнимешь,
Не молвишь в провод ничего?
Ты сердцем любящим не примешь
Признаний сердца моего?
Все кончено, все невозвратно,
Как правды ужас ни таи! —
Шептали что-то непонятно
Уста холодные мои,
И дрожь по телу пробегала,
Мне кто-то говорил укор,
К груди рыданье подступало,
Мешался ум, мутился взор,
И кровь по жилам стыла, стыла…
Скорей на воздух! Дайте свет!
О! это страшно, страшно было,
Как сон гнетущий или бред…

Я пережил, – и вновь блуждает
Жизнь между дела и утех,
Но в сердце скорбь не заживает.
И слезы чуются сквозь смех.
В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;
Гляжу – и будто образ брата
У сердца смерть не отняла.
И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон;
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный,
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар…
Но снова в памяти унылой
Ряд урн надгробных и камней
И насыпь свежая могилы
В цветах и листьях, и над ней,
Дыханью осени послушна, —
Кладбища сторож вековой, —
Сосна качает равнодушно
Зелено-грустною главой,

И волны, берег омывая,
Бегут, спешат, не отдыхая.

Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричина. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не меньше я удерживаю мое выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851 г.), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу – «не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого».

Передо много лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы; какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

«Положение наше, – пишет он в 1850 году, – становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например лицею. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками Римской империи, которой недоставало только одного – наследственности!..

…Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, – когда же развалится этот мир?..

Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать – пусть выгонят сами.

…Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального».

Осенью 1853 года он пишет: «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде (т. е. при мне) и чем стали теперь. Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет: только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время – еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется».

Одно из последних писем он заключает так: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, а выхода нет *живому*».

Быстро на нашем севере дикое самовластие изнашивает людей. Я с внутренней боязнию осматриваюсь назад, точно на поле сражения, – мертвые да изуродованные…

Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним

фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности; это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию.

Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми налоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии.

И где вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них, с Грановского? Милый, блестящий, умный, ученый Крюков умер лет тридцати пяти от роду. Эллинист Печерин побился, побился в страшной русской жизни, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии. Р<едкин> постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами. Крылов – но довольно. La toile! La toile![27]

Глава XXX
Не наши

Славянофилы и панславизм. – Хомяков, Киреевские, К. Аксаков. – П. Я. Чаадаев.

> Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *не одинакая…* И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как *сердце билось одно.*
> *«Колокол», лист 90*
> *(На смерть К. С. Аксакова)*

I

Рядом с нашим кругом были наши противники, nos amis les ennemis[28], или, вернее, nos ennemis les amis[29] – московские славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки; но в начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно – этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории; но, принимая за серьезное их православие, но, видя их церковную нетерпимость в обе стороны – в сторону науки и в сторону раскола, – мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви.

На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воз-

---

[27] Занавес! Занавес! (*франц.*). – *Примеч. ред.*

[28] Наши друзья-враги (*франц.*). – *Примеч. ред.*

[29] Наши враги-друзья (*франц.*). – *Примеч. ред.*

зрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации.

Идея народности сама по себе идея консервативная, выгораживание своих прав, противоположение себя другому; в ней есть и юдаическое понятие о превосходстве племени, и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность как знамя, как боевой крик только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства, со всеми их преувеличениями, исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам: в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят; они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию. Нам надо было противопоставить нашу народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появление славянофилов как школы и как особого ученья было совершенно на месте; но если б у них не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как «Домострой» и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партией оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала.

К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм при появлении своем был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было вообще время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных Лазарей, свежих и смердящих. Рядом с Тейчтумом[30], шедшим на воскресение *счастливых* времен Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненавистей; массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался туже, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта; границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами. В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах.

Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России.

Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию, существовал со времени обрития первой бороды Петром I.

Противодействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось – казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими *потешниками*, в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).

---

[30] Германизмом (*старонем.* Teutschtum). – *Примеч. ред.*

Все раскольники – славянофилы.

Все белое и черное духовенство – славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы: они, вообще, переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien ne, que la patrie est chere![31]

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограниченно. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцуженный граф Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях.

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую, циническую лесть «Северной пчелы», с другой – в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую – Манчестером, Шебуева – Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды…

При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось, сообразно космополитическому характеру города, *изобретением* народного гимна по Себастиану Баху[32] и Прокопием Ляпуновым – по Шиллеру[33].

Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь *православия, самодержавия и народности,* отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало – дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и «Рукой всевышнего отечество спасла».

Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастием. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были

---

[31] Сколь дорога отчизна благородном сердцу! (*франц.*). – *Примеч. ред.*

[32] Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «God save the King». <«Боже, храни короля» (*англ.*)> да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это – нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный корпуса жандармов полковником Львовым.Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний нумер «Journal des Débats» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в «Северной пчеле», что, между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом, он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой – в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание – и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту вымарал граф С. Г. Строганов, рассказывавший мне этот милый анекдот.

[33] Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то стерты, не нашли сил аплодировать.

бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III отделению или к управе благочиния. Что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми.

Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве, проездом, панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше чем иностранец, больше чем свой – он был то и другое. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек *красного* православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев.

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастию, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил с своего стула, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц, немец; я сбегаю его прирезать и сейчас возвращусь».

Гром смеха заглушил негодование.

В такую-то кровожадную в *тостах* партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде.

Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении «Письма» Чаадаева и шуме, который оно вызвало.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni speranza[34].

Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа». Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать «Телескоп» – «Философские письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, т. е. что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но

[34] Оставьте всякую надежду (*итал.*). – *Примеч. ред.*

еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее – «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и *читал.* И это напечатано по-русски, неизвестным автором… Я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «Письмо» Витбергу, потом С<кворцову>, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе.

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев.

Долго оторванная от народа часть России прострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было *что-то* на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал *что.* Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева – безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это «пробел разумения, грозный урок, данный народам, до чего отчуждение и рабство могут довести». Это было покаяние и обвинение; знать вперед, *чем* примириться, не дело раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине – шутка, и искупление неискренно.

Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и цензор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить *сумасшедшим* и обязать подпиской *ничего* не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, т. е. выдавали за своей подписью *пятьдесят два фальшивых свидетельства по высочайшему повелению* – умно и нравственно. Наказанные, разумеется, были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволья власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.

Я видел Чаадаева прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

– Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

– А вы думаете, – сказал Чаадаев, – что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня в памяти.

Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до отъезда мы были с ним в самых лучших отношениях.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фонде московской high life[35]. Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал ого. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать, его звать… и, еще больше, ездить к нему? Вопрос очень серьезный.

Чаадаев не был богат, особенно в последние годы; он не был и знатен: ротмистр в отставке с железным кульмским крестом на груди. Он, правда, по словам Пушкина,

в Риме был бы Врут, в Афинах – Периклес,
Но здесь, под гнетом власти царской,
Он только офицер гусарской…

Знакомство с ним могло только компрометировать человека в глазах правительствующей полиции. Откуда же шло влияние, зачем в его небольшом, скромном кабинете в Старой Басманной толпились по понедельникам «тузы» Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, зачем генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого *Американца* Толстого и дикого генерал-адъютанта Шипова, уничтожавшего просвещение в Польше?

Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им с ними[36]. Разумеется, что люди эти ездили к нему и звали на свои рауты из тщеславия, но до этого дела нет; тут важно невольное сознание, что мысль стала мощью, имела свое почетное место вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена.

Чаадаев имел свои странности, свои слабости, он был озлоблен и избалован. Я не знаю общества менее снисходительного, как московское, более исключительного; именно поэтому оно смахивает на провинциальное и напоминает недавность своего образования. Отчего же человеку в пятьдесят лет, одинокому, лишившемуся почти всех друзей, потерявшему состояние, много жившему мыслию, часто огорченному, не иметь своего обычая, свои причуды?

---

[35] Знати (*англ.*). – *Примеч. ред.*

[36] Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:– Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?– Ах, это вы! – отвечал Чаадаев. – Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник, прежде, кажется, был красный?– Да, разве вы не знаете, что я морской министр?– Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.– Не черти горшки обжигают, – отвечал несколько недовольный Меншиков.– Да разве на этом основании, – заключил Чаадаев.Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.– Чем же? – спросил Чаадаев.– Помилуйте, одно чтение записок, дел. – И сенатор показал аршин от полу.– Да ведь вы их не читаете.– Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.– Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, – заметил Чаадаев.

Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела. Государь находился тогда, помнится, в Вероне или в Аахене на конгрессе. Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему, и он как-то опоздал часом или двумя и приехал позже курьера, посланного австрийским посланником Лебцельтерном. Государь, раздраженный делом, увлекаемый тогда окончательно в реакцию Меттернихом, который с радостью услышал о семеновской истории, очень дурно принял Чаадаева, бранился, сердился и потом, опомнившись, велел ему предложить звание флигель-адъютанта; Чаадаев отклонил эту честь и просил одной милости – отставки. Разумеется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаев не торопился в Россию; расставшись с золоченым мундиром, он принялся за науку. Умер Александр, случилось 14 декабря (отсутствие Чаадаева спасло его от вероятного преследования[37]); около 1830 года он возвратился.

В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом; это знакомство, вероятно, много способствовало, чтоб навести его на мистическую философию. Она у него развилась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. В своем «Письме» он половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства.

Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть. Лакордер проповедовал католический социализм, оставаясь доминиканским монахом; ему помогал Шеве, оставаясь сотрудником «Voix du Peuple». В сущности, неокатолицизм не хуже риторического деизма, этой не-религии и неведения, этой умеренной теологии образованных мещан, «атеизма, окруженного религиозными учреждениями».

Если Ронге и последователи Бюше еще возможны после 1848 года, после Фейербаха и Прудона, после Пия IX и Ламенне, если одна из самых энергических партий движения ставит мистическую формулу на своем знамени, если до сих пор есть люди, как Мицкевич, как Красинский, продолжающие быть месспанистами, то дивиться нечему, что подобное учение привез с собою Чаадаев из Европы двадцатых годов. Мы ее несколько забыли; стоит вспомнить «Историю» Волабеля, «Письма» леди Морган, «Записки» Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна из самых тяжелых эпох истории. Революция оказалась несостоятельной, грубый монархизм, с одной стороны, цинически хвастался своей властию, лукавый монархизм, с другой, целомудренно прикрывался листом хартии; едва только, и то изредка, слышались песни освобождающихся эллинов, какая-нибудь энергическая речь Каннинга или Ройе-Коллара.

В протестантской Германии образовалась тогда католическая партия, Шлегель и Лео меняли веру, старый Ян и другие бредили о каком-то народном и демократическом католицизме. Люди спасались от настоящего в Средние века, в мистицизм – читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ; Гюго, враг католицизма, столько же помогал его восстановлению, как тогдашний Ламенне, ужасавшийся бездушному индифферентизму своего века.

На русского такой католицизм должен был еще сильнее подействовать. В нем было формально все то, чего недоставало в русской жизни, оставленной на себя, сгнетенной одной материальной властью и ищущей путь собственным чутьем. Строгий чин и гордая независимость западной церкви, ее оконченная ограниченность, ее практические приложения, ее безвозвратная уверенность и мнимое снятие всех противоречий своим высшим единством, своей вечной фатаморганой, своим urbi et orbi[38] своим презрением светской власти должно было легко овладеть умом пылким и начавшим свое серьезное образование в совершенных летах.

---

[37] Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина.

[38] Городу (т. е. Риму) и миру (*лат.*). – *Примеч. ред.*

Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарения Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен – все это исчезло с 1826 годом.

Были иные всходы, подседы, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с раскрытой шеей à l'enfant[39] или учившиеся по пансионам и лицеям; были молодые литераторы, начинавшие пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев.

Друзья его были на каторжной работе; он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец, втроем с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольшие пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!

Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву; между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Но заря не взошла, а взошел Николай на трон, и Пушкин пишет:

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
…Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена!

В мире не было ничего противоположнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное, проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.

«В Москве, – говаривал Чаадаев, – каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка – гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами*, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое»[40].

---

[39] Как дети (*франц.*). – *Примеч. ред.*

[40] «В дополнение к тому, – говорил он мне в присутствии Хомякова, – они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков».

Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни – сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: «Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы – где же выход?»

«Его нет», – отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет. «История других народов – повесть их освобождения. Русская история – развитие крепостного состояния и самодержавия». Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей, – *просвещенных* рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, не понятые народом, побитые правительством, – пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь… Это почти значило «пора умереть», и Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви.

С точки зрения западной цивилизации, так, как она выразилась во время реставраций, с точки зрения петровской Руси взгляд этот совершенно оправдан. Славяне решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание *живой души* в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было, *не смертельная болезнь.* И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа.

«Выход за нами, – говорили славяне, – выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство; *воротимся* к прежним нравам!»

Но история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Мы видели две: ни легитимисты не возвратились к временам Людовика XIV, ни республиканцы – к 8 термидору. Случившееся стоит писаного – его не вырубишь топором.

Нам, сверх того, не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьян, а к старинным неуклюжим костюмам?

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов: принимая *его совсем готовым.* Они полагали, что делить предрассудки народа значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе, великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству – другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажаю-

щего, от дикого мяса, которым они обросли, в этом, конечно, наше призвание. Но не надобно ошибаться, все это далеко за *пределом* государства; московский период так же мало поможет тут, как петербургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в «Уложении» уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и *не могла иметь.* То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь *только* всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта – не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только *уцелели* под трудным историческим вырабатыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей, однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, – все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни – все же камни… и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно *социального*, оно невольно влечет к круговой поруке народов… Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие – при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, и*х женственность,* недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют». Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непониманья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством – монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

«Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию *современного* европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм или в безвыходное неустройство?»

Эта неспособность и эта неполнота – великие *таланты* в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несется с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским троном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастие старших братий. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм – выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм – военный стан, империя – война, император – военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома – внизу, на дне – и *там*, за Неманом.

Начавшаяся теперь война[41] может иметь перемирия, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседелым деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал – государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить *третью* личность, немую, без знамени, без имени, являющуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой – на Тихом океане.

Помирятся ли эти *трое*, померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия на части, или обессиленная Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг вперед, или будут резаться без конца, одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений – это то, что *разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма.*

II

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр. и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы – за невозможностью политических – становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, *бывало*, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть

[41] Писано во время Крымской войны.

общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы услышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал одну *молодую* Москву, литературно-светскую, и говорю только об ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла – без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Р<едкин> выводил логически личного бога, ad majorera gloriam Hegeli[42]

[42] К вящей славе Гегеля (*лат.*). – *Примеч. ред.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.